

Петр Немировский

НЬЮ-
ЙОРКСКИЙ
БОМЖ



Петр Немировский
Нью-йоркский бомж

«Геликон Плюс»

2019

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Немировский П.

Нью-йоркский бомж / П. Немировский — «Геликон Плюс», 2019

ISBN 978-5-00098-222-8

Среди когорты славных писательских имен живущих за границей появилось новое имя – Петр Немировский. Журналист из Киева, автор нескольких книг, стал американским писателем, сочинителем глубокой психологической повести с увлекательным криминальным сюжетом под названием «Нью-йоркский бомж». Герой повести Давид – интеллектуал, журналист, к сожалению, лишен литературного дара, что омрачает жизнь тщеславного человека. Случайная встреча журналиста с нью-йоркским бомжем Мартином, чешским эмигрантом, пробуждает в Давиде неуправляемую зависть к писательскому таланту алкоголика и наркомана, доверившего журналисту свои «записки». Особый дар Мартина видеть в окружающей среде оборванцев, проституток, воров и прочего сброда – неукротимую жажду жизни, красоту мира, человеческое достоинство... Не в силах совладать с искушением стать литературной знаменитостью, Давид убивает бездомного, никому не известного Мартина, овладевает вожденной рукописью... Однако традиционный сюжет под пером Петра Немировского обретает особую непохожесть, свою нравственно-философскую глубину... Прочтите эту повесть, действительно вас прошу – прочтите.

УДК 82.32.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00098-222-8

© Немировский П., 2019

© Геликон Плюс, 2019

Содержание

О маме	7
Глава 1	7
Глава 2	10
Глава 3	12
Глава 4	16
Глава 5	17
Глава 6	19
Глава 7	20
Нью-йоркский бомж	22
Глава 1	22
Глава 2	26
Глава 3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Петр Немировский Нью-йоркский бомж

© Немировский П., текст, 2019.

© «Геликон Плюс», макет, 2019.

О маме

Глава 1

Я вышел из подземки на Юнион-сквер, как раз закончился дождь, асфальт был мокрым, и в лужах отражались... Нет, не буду врать, я не видел, что отражалось в тех лужах, в них могло быть и небо в плывущих рваных тучах, и еще не зажженные фонари, и лотки торговцев на зеленом рынке. Быть может, там мелькнул и какой-нибудь фермер-бородач из Пенсильвании, продававший мед в круглых банках, или румяная крепкая фермерша с севера штата, выставившая на лотках яблоки, лук, картошку, свежий хлеб, или продавцы рыбы, сока, кленового сиропа, домашнего яблочного вина – да кто и что угодно могло попасть в «объективы» тех луж на Юнион-сквер, когда в пятницу утром я вышел из подземки.

Место, где я работаю, находится неподалеку от станции метро, на 11-й стрит. Там, в амбулаторной клинике, меня ждут пациенты. Злые, уставшие, измученные – страдающие различными психическими нарушениями. Каждому из них что-то от меня нужно.

А еще в пяти минутах ходьбы от станции метро, но в противоположной от клиники стороне – знаменитый книжный магазин «Барнс энд Нобл». Там меня тоже ждут в кафе на третьем этаже, где я обычно заказываю кофе или чай с круассанами.

В конце рабочей недели, в пятницу вечером, я часто туда захожу. Этот магазин со множеством стеллажей и ползущими, уходящими под потолок ступенями эскалаторов создает у меня ощущение какого-то губельного лабиринта, куда легко войти, но откуда трудно, вернее, практически невозможно выйти: один ряд книжных полок ведет к другому, античность сменяется Средневековьем, а затем Просвещением, вера – безбожием и, достигнув пика современности, всё начинает двигаться в обратном направлении, снова по эскалаторам, с этажа на этаж.

Не так ли и мы – устремляясь в будущее, неизбежно возвращаемся в прошлое? Не умираем ли мы в тот самый миг, когда рождаемся? Не прощаемся ли мы навеки с кем-то, когда говорим этому человеку «здравствуй»?

Я не знаю, мама, как ты кричала, когда рожала меня. Не знаю и не помню этого.

Говорят, младенец испытывает настоящий шок, покидая материнскую утробу и появляясь на свет Божий. Говорят, что там, в материнской утробе, мягко, тепло. Там блаженство, то блаженство, которое на протяжении столетий искали многие философы и богословы, сооружая сложные интеллектуальные конструкции, как леса вокруг храма. Но в храм мало кто из них попал.

А может, храм блаженства – это материнская утроба, где таинственным образом зарождается новая жизнь, где существуют небо, звезды, даже Бог и ангелы – всё, что есть во Вселенной?

До меня, мама, в твоей утробе лежала моя старшая сестра Лия, а потом был зачат и мой старший брат, который родился мертвым, потому что тебя во время беременности нерадивые врачи заразили гепатитом и тем самым убили ребенка, которому ты должна была подарить жизнь.

Может, этим мертворожденным младенцем был я? Нет, мне кажется, им был некто другой, мой брат. Будучи еще ребенком, узнав об этом из родительских разговоров, я испытал странное чувство вины и радости, потому что если бы родился он, то вряд ли родители захотели бы еще одного, третьего ребенка.

Но мне трудно представить, мама, что ты бы отказалась от этой мысли и не захотела бы родить меня.

Я хорошо помню, как родился мой сын, как на акушерском столе в госпитале «Квинс» кричала моя жена. Было два часа ночи, акушеру позвонили домой, сказали, что приехала его пациентка из Бруклина, у нее схватки. Акушер распорядился сделать ей обезболивающий укол в позвоночник и сказал, что скоро приедет.

Пока он дома мылся, брился, одевался, потом заправлял бензином машину, медсестра-негритянка поняла, что ждать нечего, нужно принимать роды. Она подключила мониторы и давала указания моей жене: «Прижми подбородок к груди! Вот так. Теперь толкай! Толкай его так, как будто ты сидишь на унитазе и у тебя запор! Сильнее! Сильнее!»

Наконец приехал врач.

Я держал руку жены, гладил ее лоб в холодной испарине и смотрел на мониторы, на которых в виде линий отображались схватки и продвижение младенца к выходу.

Боже, как она кричала, моя жена, рожая нашего сына! Укол обезболивающего, вероятно, не подействовал или оказался недостаточным. Во всяком случае, я не мог себе представить, что человек может ТАК кричать. Я видел пациентов в отделении «Скорой помощи» с поломанными руками и ногами, с пулями в животе, я видел наркоманов в ломках. Я видел сбитых машинами, слышал их стоны и крики. Но все это – ничто по сравнению с криками роженицы. После этого я уже не сомневался, что человек произошел от животного. Так кричать может только животное. Я считал, что у человека нет душевного резерва, чтобы вместить столько боли, недостаточный объем легких и слишком слабые голосовые связки, чтобы породить такой крик.

Потом в руке акушера появился скальпель. Врач сказал, что другого выхода нет, нужно резать. После нескольких точных резких движений, брызнула кровь – на рукава его врачебного халата. Мелькнувший перед моими глазами скальпель в его руке был уже не серебристым, а красным, и халат, и лицо врача в маске, и стоявшая возле него медсестра – все было забрызгано кровью.

Как она выла, моя жена.

Два раза в жизни я слышал такое. В первый раз так кричала моя жена, рожая сына.

Во второй раз точно так же, как раненая лань, выла моя сестра Лия после того, как мрачный еврей в ермолке, сотрудник похоронного дома, сказал, что твой гроб, мама, уже в ритуальном зале и мы можем туда войти, чтобы попрощаться с тобой.

Я вошел первым, а после меня – Лия. Недолго постояв, я покинул этот зал и удалился в какой-то узенький коридорчик, чтобы быть подальше от того страшного места. Крепко закрыл уши ладонями. Но это было напрасно, – я мог даже уйти из этого здания, сесть в машину, уехать на вокзал, а оттуда хоть в Калифорнию или на Аляску. Я мог бы залить свои уши воском – все равно слышал бы вопли Лии над твоим гробом.

Лия хотела, чтобы... Нет, она уже ничего не хотела. В такие минуты человеку уже нечего хотеть, он уже никого не винит и никого ни о чем не просит.

А ты смотрела на нас, мама, и ничем не могла помочь. Впервые за столько лет ты не могла нам помочь, даже пальцем не пошевелила...

* * *

Сынок лежал на животе моей жены, подняв головку со слипшимися мокрыми волосками. Он тоже кричал. Это был крик возмущения и радости. Это был требовательный крик. Новый человек родился – покинул рай, навеки расстался с блаженством материнского тепла. Как ему там было покойно и хорошо в утробе Вселенной! Но его изгнали из рая. И теперь он требовал для себя места на Земле, ему было нужно пространство – чтобы двигаться, воздух – чтобы дышать, тепло – согреваться.

Медсестра ловким движением завернула младенца в пеленку и отдала его мне – отнести к весам. Я взял сына на руки, и под моими ногами вдруг покачнулся пол...

Через три дня мы привезли его из госпиталя домой. Елки у нашего дома были припорошены декабрьским снежком. Дул сильный ветер, тот злой зимний ветер, который неприятен в Нью-Йорке даже детям, а взрослым и подавно. Мы вышли из машины, я нес сына, закутанного в тонкую белую пеленку. Проснувшись после долгой езды в теплом салоне машины, он раскрыл маленький ротик и снова стал обиженно и требовательно кричать.

Ты, мама, ждала нас дома. Когда мы вошли с сыном на руках, ты хлопнула в ладоши и подпрыгнула от радости. Ты, мама, сама была ребенком. Радость была для тебя случайной гостьей, и ты ее никогда не ждала. Но когда эта гостья приходила, ты реагировала самым простым способом, как маленькие дети: хлопают в ладоши и радостно подпрыгивают.

Точно так же ты обрадовалась моему сыну, своему внуку. Взяла его на руки и сказала, что мы могли его заморозить в тонкой пеленке. «Разве можно так?! Ему же холодно! Теперь у него болит животик».

Ты работала воспитательницей в яслях и каким-то особым чутьем угадывала, что беспокоит детей – кому из них холодно, кому жарко, у кого болит животик. Сказать об этом они еще не могли.

* * *

Ты знаешь, когда моему сыну исполнился год, однажды ночью мне приснился сон: твоя мама, моя бабушка, возникла откуда-то в халате и кухонном переднике; подошла к моему мальчику, который только что встал с горшка. Бабушка взяла этот полный горшок и понесла его в туалет выливать.

Тогда бабушка приснилась мне впервые, это было через тридцать лет после ее смерти. Она пришла к нам, чтобы вынести за моим сыном горшок. Мудрая бабушка. Она там, в Вечности, наверное, немного утомилась от возвышенных блаженных состояний, от лицезрения небесных светил и Господа, окруженного серафимами и херувимами. Ей захотелось на минуту испытать иное блаженство, и, покинув райские обители, она пришла к нам, чтобы вынести за своим правнуком горшок...

А ты, мама, не приходишь ко мне даже во сне. Первое время после твоего ухода каждый вечер я, вернувшись с работы, спешил лечь на кровать и закрыть глаза.

Нет, это не было депрессией. Я просто ждал, что ты мне приснишься. Я ведь уже знал, что мы не встретимся никогда на этой Земле, и в чудеса я не верю. Но я верю в сны. Потому что сны – это двери. Потому-то и я спешил уснуть в надежде, что ты придешь во сне. Я не верил, что ты не сможешь ко мне прийти даже через эту дверь.

Но время шло, одни ночные кошмары сменялись другими: госпитальные кровати с моторами, капельницы, таблетки, кислородные маски – всё, чем в последние годы была наполнена твоя жизнь, перекочевало в мои сны.

Но тебя я так и не увидел.

Глава 2

На моем банковском счету хранились пятьдесят пять тысяч долларов. Эти деньги родители собрали за много лет, экономя на всем. Вернее, экономил папа, а ты, мама, не понимала, что такое экономия. Ты страдала близорукостью, но не носила очков и не видела, что происходит у тебя под носом. Точно так же и с деньгами – ты плохо разбиралась в ценах, не умела торговаться.

Деньгами в семье заведовал папа, откладывая, что мог, из более чем скромных ваших зарплат, а потом пенсий. (Папа тридцать лет работал водителем автобуса в ешиве, развозил детишек по домам в Бруклине.)

Отдавая мне сэкономленные деньги, родители ничего не оставляли у себя на банковском счете, поэтому могли пользоваться некоторыми государственными льготами для бедняков. До поры это всех нас устраивало.

Я даже выплачивал по этим деньгам папе проценты. Я никогда не спрашивал папу, что он собирается делать с этими деньгами, на что их откладывает.

Мы с Лией изредка напоминали ему, что, мол, в могилу он все равно ничего с собой не унесет и неплохо бы заняться сейчас «похоронным вопросом», так как цены на кладбище постоянно растут. Но папа сердито отмахивался: «Не горит!» Он любил круглые цифры и поставил перед собой сверхзадачу – довести сумму своих сбережений до ста тысяч.

В конце каждого месяца мы с папой садились за стол в родительской квартире и «подводили баланс»: он отдавал мне сэкономленные деньги, подсчитывал свой доход по процентам, припоминал, что я должен ему еще пару десятков долларов, если он мне что-то покупал. Закончив подсчеты – сначала на калькуляторе, затем – повторные – на бумаге, – папа передавал мне листок, на котором была записана новая сумма – сколько его и маминых денег теперь у меня на счету.

Цифра росла, добавлялись нули. Пятьсот долларов превратились в пять тысяч, пять тысяч – в пятьдесят пять.

Папа был счастлив.

Но к тому времени я уже серьезно занялся литературой. Все чаще, выйдя из подземки на Юнион-сквер, я направлялся не в клинику к своим пациентам, а в магазин «Барнс энд Нобл», где меня ждали книги на стеллажах и еще – писатели, нарисованные на стенах тамошнего кафе.

Я все чаще задавал себе вопрос: где я сейчас должен быть и где мое место – в кабинете психиатрической клиники или в этом кафе?

Публика в кафе была пестрая. Иногда за столик садился чернокожий проповедник в приличном костюме, или буддийский монах в пурпурной накидке и сандалиях на босу ногу, или какой-то бродяга тяжело опускался на стул, поставив возле себя большую старую сумку. Они о чем-то разговаривали – с посетителями кафе или сами с собой. Они приносили в кафе взятые с полок в магазине книги и журналы: проверенную веками классику и последние бестселлеры, туристические справочники, журналы о спорте, кулинарии, политике, книги по инженерии, дизайну, этике, эстетике или откровения очередной порнозвезды. Они перелистывали эти книги и журналы, при этом говорили, не умолкая. И я, сидя за одним из столиков, внимательно прислушивался к их бормотанию, к их разговорам и потом пытался воспроизвести их слова на бумаге, придав им некоторую стройность и осмысленность.

Это были мои первые литературные эксперименты.

Прошло еще некоторое время, и я бросил работу в клинике, дни напролет проводил в кафе книжного магазина с ручкой и бумагой. Франц Кафка и Исаак Башевис Зингер смотрели на меня со стен, за каким бы столиком я ни сидел. Иногда меня мучили угрызения совести или сомнения. Тогда я садился в дальний угол кафе и, виновато опустив глаза, пил маленькими

глотками горячий чай. Но Зингер и Кафка всегда выискивали меня и в самых дальних углах, и я понимал, что от их строгих, любопытных взглядов никуда не скроюсь.

А на противоположной стене курил сигару задумчивый Марк Твен и, подперев кулаком подбородок, глазел на меня бородатый Уитмен. Ну и Набоков, отодвинув от переносицы очки, разглядывал меня, как бабочку или гусеницу.

Разве можно было отказаться от такой компании?

Однако дружба с этими господами, отрешенными от земных дел и забот, как потом оказалось, стоит немалых денег. Увы! Жене я тоже скоро стал не шибко нужен – безработный, безденежный, безнадежный, как и подобает настоящему писателю.

Мы с женой стали часто ссориться. Я видел, что она не понимает и не хочет понять моих писательских амбиций. Закончилось тем, что я оставил семью и переехал на другую квартиру.

Иногда виделся с сыном, а все свободное время посвятил роману.

Глава 3

Сестра Лия спрашивала о родительских деньгах. Сначала изредка, как бы невзначай. Но рак у мамы оказался неоперабельным, деменция быстро прогрессировала, отчего нам пришлось поместить ее в дом престарелых, – словом, все события указывали на то, что нам пора заняться практической стороной смерти. Поэтому Лия стала требовать, чтобы я отдал родительские деньги. Не все, а половину – ровно столько, сколько понадобится на похороны.

Лия смутно догадывалась, что деньги я потратил. Но она все равно не могла в это до конца поверить. В представлении Лии я был человеком странным, непредсказуемым, непонятным никому, в том числе и самому себе. Но она меня любила, совершенно меня не понимая. Это и есть самая крепкая любовь – когда любят не за что-то, а вопреки всему.

Лия, привычная и готовая ко всяческим моим причудам и вывертам, все же верила, что у меня есть четкие границы дозволенного и что я эти границы никогда не переступлю. Это для нее было аксиомой.

Каждому человеку нужны аксиомы, иначе можно потеряться во множестве полуправд, которые сопровождают нас в жизни на каждом шагу.

Лия не могла отказаться от многих аксиом. Одной из них было ее твердое убеждение, что если очень захотеть и постараться, то можно добиться всего. Ее жизнь до недавнего времени подтверждала этот тезис: Лия сделала карьеру, став старшим дизайнером в ателье на Фэшн-стрит. Лия добилась того, что они с мужем купили фешенебельный дом с бассейном. Добилась, чтобы ее дочка поступила и окончила престижный университет и хорошо вышла замуж. Список достижений у Лии был довольно длинный, и она предполагала, что он и дальше будет только увеличиваться.

Но мама своими двумя страшными болезнями неожиданно подвела под этим списком жирную черту. Лия не могла принять тот факт, что не все в ее силах, что есть вещи, с которыми она ничего не может поделать. Мама скоро умрет.

Лия хотела заняться организацией и устройством будущих похорон, сделать для мамы то небольшое, что еще могла. Она хотела выбрать, если можно так сказать, престижный похоронный дом, место на престижном кладбище, ей это было важно. Она думала, в каком платье маму будут хоронить.

Платье! Конечно же, в том зеленовато-голубом платье, отстроченном золотистой ниткой, мама надевала его в самых торжественных случаях. И обязательно надо будет накрасить маме губы ярко-красной помадой. Это ведь любимый мамин цвет. Он так идет к ее светлой коже и черным волосам, которые до последних дней сохраняли пышность и поседели только за несколько недель до смерти.

Лия серьезно поговорила с папой и тот наконец согласился, что раз действительно пришло время заняться будущими похоронами, то пусть заодно место на кладбище купят и ему, рядом с мамой, и оплатят авансом все ритуальные услуги на двоих. Все это обойдется приблизительно в двадцать пять-тридцать тысяч долларов.

Но денег у меня не было. Я пришел к папе и, виновато опустив голову, признался ему во всем:

– Понимаешь, иногда мне кажется, что роман уже закончен, что он удался. Я тогда связываюсь с очередным редактором, плачу ему, он редактирует, но вскоре мне становится очевидным, что там полно недостатков, и я снова начинаю переделывать. Кто бы мог предположить, что услуги этих проклятых редакторов стоят так дорого?! Не забывай, я ведь нигде не работаю...

Папа сначала странно улыбнулся, будто бы я пошутил. Потом впери в меня тяжелый сумрачный взгляд. Он пытался и не мог осмыслить эту новость:

– Ты бездельник и транжира! – наконец выкрикнул он. – Ты – позор нашей семьи.
– Когда-нибудь мой роман издадут, и вы все будете мной гордиться, – возразил я.
– Перестань врать! Лучше бы ты вернулся в семью, к жене и ребенку! Уходи, не хочу тебя видеть.

Папа сильно разнервничался. Я опасался, что у него сейчас поднимется давление и придется вызывать «скорую».

– Ну и ладно! – огрызнулся я и, выходя, ударил ногой дверь.

Я попытался взять ссуду в банке, но так как я нигде не работал, ссуду мне не дали.

Узнав обо всем, Лия накинулась на меня с громами и молниями:

– Ты – последняя свинья! У тебя нет ни капли совести!

Она выбрала два места на дорогом кладбище и ритуальные услуги для обоих родителей, заплатив за всё своими деньгами.

После этого мы с ней перестали разговаривать. Мы ничего не хотели знать друг о друге.

Я всегда знал, что Лия – упрямая и бездуховная женщина, которую ни в чем нельзя переубедить. Я знал, что для нее важно только то, что о ней говорят окружающие: ее коллеги в ателье, ее подружки, живущие в таких же роскошных, как и у нее, домах, ее соседи.

Но в данном случае, назвав меня «последней свиньей», Лия была права.

* * *

Наша семья разваливалась.

Семья! Для мамы это было высшим духовным законом, священным словом, священным понятием. Мама знала, что наша жизнь на земле держится только благодаря семье. Очень простая формула человеческого существования. Род. Семья. Все остальное – от лукавого.

Мама не вмешивалась в личную жизнь своих детей. Она была мудрой, хотя часто называла себя «глупой». Мама не сказала «нет», она лишь неодобрительно скривила лицо, когда познакомилась с женихом Лии, и точно так же, некоторое время спустя, – с моей будущей женой. Поморщилась с каким-то сожалением. Маме не понравились ни ее будущий зять, ни невестка. Но мы сделали свой выбор. И мама этот выбор приняла.

Был период, когда Лия влюбилась и хотела развестись со своим мужем. Пришла к родителям, чтобы сообщить им о своем решении, и, по-видимому, надеялась получить родительское благословение.

Мама ее выслушала и, приложив указательный палец к губам, долго молчала. Потом тяжело поднялась со стула (у нее уже тогда были больные ноги, периодически распухающие от хронического полиартрита, и вообще она ходила тяжело, к старости была склонна к полноте и из-за этого страдала одышкой), – так вот, мама поднялась, открыла дверь и тихо сказала, чтобы Лия уходила – сейчас же, чтобы ехала к себе домой, в половине двенадцатого вечера, потому что дома ее ждут муж и дочка. Никаких объяснений мама слушать не хотела.

Лия некоторое время сидела, раскачиваясь на стуле влево-вправо. Затем позвонила своему мужу, чтобы он за ней приехал.

Лия не смогла переступить через мамино «нет».

...К тому времени, когда я оставил свою семью, мама уже страдала деменцией, не понимала многого в том, что происходит, носила на запястье специальный браслет на случай, если заблудится. Но порой у нее неожиданно появлялись проблески ясного сознания и желание совершать поступки, соответствовавшие ее натуре.

Однажды я пришел к родителям, и мама неожиданно спросила с порога:

– Это правда, что ты оставил семью?

– Да, – ответил я, пытаюсь угадать, откуда она это узнала. Ведь мы старались ее не расстраивать плохими новостями.

Ничего не сказав, мама решительно надела плащ, туфли и вышла из квартиры.
– Ты куда? – спросил я, следуя за ней к лифту.
– К тебе домой. Хочу попросить прощения у твоей жены и твоего сына за тебя.
С трудом я упрямил ее этого не делать, завел ее домой, пообещав вернуться в семью.
Но слово свое не сдержал.

* * *

Мама была ограниченной женщиной. Не разбиралась ни в политике, ни в экономике, ни в искусстве. Она не читала ни книг, ни газет. Она читала только сказки – нам с Лией, когда мы были детьми, а потом своим внукам. Читала, кстати сказать, с душой, искренне переживая за зверушек и гномов.

Мама плохо считала, писала с ошибками. Один год даже училась в специальном классе для детей с интеллектуальными проблемами.

В кафе магазина «Барнс энд Нобл» я часто беседовал о маме с Башевисом Зингером. Он мне признался, что прототипом героини в своем знаменитом романе «Шоша» (за этот роман Зингер получил Нобелевскую премию) была моя мама. Он говорил, что такие ограниченные, глупые женщины – самое ценное, что есть в еврейском народе:

«До тех пор, пока такие женщины рождаются и пока они с нами, до тех пор еврейский народ будет существовать. Такие ограниченные еврейские женщины мудрее всей премудрости Торы и всей великой немецкой философии. Бог сначала сотворил аидише мамэ, на это у него ушло шесть трудных дней. Сотворить все остальное оказалось сущей чепухой, на это Всевышнему понадобилась лишь пара мгновений...»

* * *

А еще мама была землей, черной и плодородной землей, богатым черноземом. Мама рождалась каждый год в пшенице, в яблоках, в кукурузе, в козьем и коровьем молоке, в цветах, в розах, сирени, во всем, что привозили фермеры из Пенсильвании, Нью-Джерси и Апстейта на “зеленый” базар Юнион-сквер.

* * *

По выходным я приходил в дом престарелых, где мама провела свои последние два года. Усадив ее в кресло-каталку, я укутывал ее в теплый плед, надевал ей шерстяную шапочку и вывозил на крыльцо. Мы сидели с ней, согреваясь последним теплом осеннего солнца, слабые лучи которого проникали под парусиновый полосатый навес.

Я держал мамину морщинистую руку. Мама уже была в том состоянии, когда не знала, какое сейчас время года, утро или вечер. Она не узнавала людей рядом, не помнила имен, меня называла именем папы. Но мне это было безразлично. Она знала, что это я сижу рядом с ней, и мне для этого не требовались никакие внешние доказательства.

Изредка она поднимала голову, обратив лицо к солнышку, и тихо спрашивала дряхлеющим дрожащим голосом:

– Как дела?
– Все о’кей, мама, – отвечал я.

Этот вопрос она задавала мне десятки лет. «Как дела?» Ей не был важен ответ, ей было достаточно услышать мой голос, чтобы сразу все понять.

Когда я учился на психолога в колледже в Пенсильвании, покинув родительский дом, и жил в общежитии, мама звонила мне каждый день:

– Как дела?

– Все о'кей, мама.

У меня действительно тогда все было о'кей: я редко посещал занятия, зато часто ходил в бары, играл в боулинг, глотал со студентами экстази на дискотеках. «Все о'кей, мама, у меня все в порядке».

Но если я не отвечал на ее звонок, мама звонила в отдел менеджмента общежития, могла позвонить и в секретариат колледжа. Поэтому маму знали менеджеры общежития, секретарши в колледже и даже замдекана. У мамы была надежная агентурная сеть.

Мама мне звонила, когда я бывал в отъезде – в других штатах или за границей. Один раз, будучи в Париже, я зашел в знаменитый Пантеон, где в крипте в каменных саркофагах покоится прах великих французских мужей. Я ходил по сумрачным тихим коридорам в крипте, и вдруг – звонок. Мама из Бруклина!

«Как дела, сынок?»

И тут из саркофагов встали Дюма, Гюго и Золя, и Жолио Кюри, и еще какие-то знаменитые французские политики и генералы – все подошли ко мне, каждый брал у меня мобильник и отвечал маме: «Мадам Шапиро, бонжур. Это Виктор Гюго. У вашего сына все о'кей, он в полном порядке». И передавал телефон Эмилю Золя, чтобы тот подтвердил, что у меня все о'кей...

Но у мамы началась деменция. И вот в один день она мне не позвонила, не спросила: «Как дела?» Уже близился вечер, уже смеркалось, в небе появились первые звезды, а мама мне не звонила...

Мне всегда казалось, что в мире может все измениться: может начаться война, или обвалиться биржа, или циклон снесет дома и затопит ливнями целые районы, – но, невзирая ни на что, мама найдет способ мне позвонить и спросить: «Как дела?»

Но она не позвонила в тот день. Она забыла мой номер телефона. Она просто забыла, что забыла мне позвонить.

В тот день я повзрослел на десять лет. И с каждым новым днем ее болезни мы всей семьей – я, Лия и папа – выросли на десять лет.

Глава 4

Наконец я поставил финальную точку в своем романе, решил, что дальнейшие переделки его только портят. Стал обращаться к литературным агентам, которые обещали мне найти издателя.

Но удача мне не улыбалась – я получал от издательств только отказы!

Неужели мой роман так плох?! Эта мысль причиняла мне нестерпимую боль.

Банки мне по-прежнему отказывали в ссудах, приходили штрафы за несвоевременную оплату, на кредитных карточках постоянно росли долги. Я был вынужден подрабатывать таксистом.

Незаметно для себя самого я стал пить. Днем я шел в дом престарелых к маме, а вечером, если не работал в такси, – в дешевый паб неподалеку от дома. Играл там с местными ханыгами в бильярд и пил виски.

Я проклинал себя за то, что когда-то захотел стать писателем и издать книгу. Больше не заходил в кафе магазина «Барнс энд Нобл», где когда-то сидел за столиком в компании писателей.

...Однажды я бродил по городу и случайно очутился на Юнион-сквер. Был поздний вечер. Моросил дождь.

Я проходил мимо здания клиники, где когда-то работал психотерапевтом. И вдруг решил, что мне нужно прекратить это безумие. «Забуду о своем романе, который все равно никогда не издадут. Я должен заниматься тем, что знаю и умею, на что у меня ушли годы учебы и практики. Начну зарабатывать деньги в клинике, рассчитаюсь с долгами. Вернусь в семью. Вернусь к себе. Иначе я или окончательно сопьюсь, или покончу с собой».

* * *

Я стал работать психотерапевтом на старом месте. Вернулся к жене и сыну. Как ни странно, наши отношения с женой стали гораздо лучше, чем были прежде, – испытания пошли на пользу нам обоим.

Глава 5

В то воскресенье мы с женой и сыном пошли в дом престарелых к маме. Сын пытался кормить ее с ложечки йогуртом. Мама съела три ложки и произнесла:

– Довольно.

Мне показалось, что эти три ложечки йогурта она съела ради него, так же как он когда-то ел пару ложек «для бабушки».

Сын поставил на стол стаканчик с йогуртом, затем неожиданно наклонился и поцеловал бабушку в щеку, и она улыбнулась. Мама знала, что это ее внук.

– Почему-то вспомнила, как мама танцевала у нас на свадьбе, – сказала жена, когда мы втроем вышли из дома престарелых. – Я тогда увидела по-настоящему счастливого человека, – она отвернулась и смахнула слезинку с глаз.

Она тоже видела, что мама уходит...

* * *

Я не мог выбраться в дом престарелых в течение всей следующей недели: было слишком много дел на работе. А вечером туда ехать незачем: пациентов в доме престарелых обычно укладывают в кровати рано – в пять-шесть часов.

Но рабочая неделя почти прошла, уже была пятница. И я был счастлив, что мама дожила до субботы и я смогу увидеть ее завтра.

Завтра покормлю ее йогуртом, закутаю в теплый плед, надену ей шапочку и выведу в кресле-каталке на крыльцо погреться на солнышке. И все будет как обычно – уговаривал я себя.

...В пятницу у меня была вечерняя смена. Я собирался на работу. Надевая штаны, никак не мог попасть ногой в штанину и стал прыгать на одной ноге. И так «допрыгал» до книжной полки, где возле книг стояли разные фотографии.

На одной из фотографий в рамочке – мама в своем любимом зелено-голубом платье, с пышными, зачесанными набок волосами, смотрит, прищурив глаза, и улыбается.

У меня почему-то все задрожало внутри.

И... вдруг лучи света полились на меня. Лучи вечного солнца материнской любви лились на мое лицо; благотворное тепло согревало мне кожу, входило в мышцы, в суставы, пронизывало все мое естество.

От такой силы любви мне стало страшно...

Так мама прощалась со мной.

* * *

Нужно было поехать к ней, в дом престарелых, но я поехал на работу.

...Я вел психотерапевтическую сессию, мой мобильник постоянно звонил. Звонила Лия. Я знал, почему она звонит, но я не отвечал.

Мне уже было некуда спешить. Полчаса уже ничего не изменят. И час уже ничего не изменит. И сутки ничего не изменят. И месяцы. И годы.

Время меняло свои привычные границы, Время впускало меня в свои новые владения.

Я закончил сессию, попрощался с пациентами и пожелал им хороших выходных. И когда ушел последний из них, позвонил Лии.

Что потом? Потом я спокойно вышел из здания клиники и поехал в дом престарелых. Сыпал мелкий снежок, но было не холодно, еще работали магазины и кафе.

Не знаю, как такое произошло, но в метро я проехал несколько лишних остановок и пришлось возвращаться.

Лия звонила, спрашивала, где я и почему так долго еду.

...Я вошел в палату. Сжал Лию с такой силой, что, думал, она сейчас хрустнет.

...Мы сидели у маминой кровати: Лия с одной стороны, я с другой. Гладили маму по ее полным, еще теплым рукам. А моя жена и папа сидели у мамы в ногах.

Мы болтали с Лией о всяком разном и не могли наговориться. Лия рассказывала о том, что ее дочка беременна, что их ателье недавно купили китайцы.

– Умереть в пятницу вечером, в шаббат, у евреев считается большой привилегией, которая выпадает только праведникам, – задумчиво произнес папа. – Ах!..

* * *

Прошел год.

Папа старался приспособиться к жизни вдовца. Он говорил, что ему трудно выдерживать одиночество. Лия часто приезжала к нему, оставалась у него на ночь, иногда водила его в кафе и рестораны, чтобы поднять ему настроение. Он быстро полностью поседел.

Лия помогала своей дочке, которая недавно родила; часто брала моего сына к себе в гости, покупала нам с женой билеты на ее любимые балетные спектакли.

Словом, всю высвободившуюся энергию и силы Лия направила на всех нас. Будто бы решила, что обязана занять место мамы и заботиться обо всей семье.

Глава 6

Я работал в клинике, снова стал искать издателя. И удача мне улыбнулась! Одно издательство приняло мой роман, и мы подписали контракт на издание книги, причем на хороших для меня условиях.

Все в семье, разумеется, были счастливы. Сын от радости прыгал до потолка. Папа говорил, что я – гордость нашей семьи и мое место за писательским столом, а не в психиатрической клинике. Папа даже специально заказал себе новые очки, чтобы читать мою будущую книгу.

Лия рассказывала своим подругам и коллегам в ателье о своем талантливом брате, который «скоро станет богатым и знаменитым». А жена объявила, что если я захочу писать новый роман и мне для этого придется ненадолго уйти с работы, она не возражает.

Вот как много значит успех для людей.

Глава 7

Сосед по дому – заядлый рыбак, пригласил меня на ночную рыбалку. До сих пор я всегда отказывался от его приглашений, но в этот раз согласился.

Вечером мы подъехали к причалу в районе Шипсхед Бей и погрузились на корабль, чтобы отправиться за блу фиш. (Блу фиш – луфарь; океанская хищная рыба.)

Ночной блюз – так рыбаки называют эту ночную рыбалку с корабля.

Мы заняли место на корме, где было относительно просторно, а потому – удобно забрасывать спиннинги. Сосед дал мне свой запасной спиннинг, я же помог ему снести с пирса по трапу огромный пустой пластмассовый ящик для рыбы. Затем он стал готовить снасть.

Тем временем на корабль по трапу спускались все новые рыбаки, среди которых, к моему удивлению, были и женщины – ортодоксальные молодые еврейки в длинных юбках и туго завязанных на голове косынках.

Все готовились к отплытию.

Я жевал сэндвич, поглядывая на женщин на палубе.

Ортодоксальные еврейки на корабле с мужчинами, да еще отправившиеся ловить блу фиш – такого я не мог себе представить! Ортодоксальные еврейки должны дома готовиться к Шаббату, покупать кошерную еду в супермаркетах, должны встречать мужей из синагоги, покупать новые парики и рожать детей. В лучшем случае – рыбу фаршировать.

Но не ездить на корабле на «ночной блюз».

Корабль двинулся в океан. Сосед мне рассказывал о крючках и грузиках. А корабль удалялся от берега, рычал: «Бух-бух-бух!» – и над водой носились крикливые чайки, а вдали золотым огнем горели небоскребы Манхэттена.

Ночной блюз – это не рыбалка. Это бой с рыбой, это война: кто кого – она тебя или ты ее. На палубе мы отрезали куски свежей селедки, наживляли их на большие крючки и забрасывали в воду.

Блу фиш – рыба глупая, блу фиш – рыба сильная. Блу фиш – рыба смелая. И жестокая.

Блу фиш легко и быстро откусывает пальцы, если чьи-то пальцы попадают ей в пасть. Блу фиш клует сильно и резко.

Ты подсекаешь, и начинается борьба. Тебе трудно, у тебя уже болят руки, ты кричишь, кричишь, чтобы дать выход своему напряжению, своей усталости и своей дикой радости. И когда внизу, в воде, неподалеку от борта корабля, вскипает пена от ударов разгневанной пойманной блу фиш, ты зовешь матроса, чтобы тот готовил длинный гарпун.

Матрос подходит к самому борту, нацеливает гарпун, чтобы вонзить железный острый наконечник в серебристое брюхо рыбы. Удар! В брюхо ей! В спину ей! Иногда рыбу приходится бить сразу двумя гарпунами и тащить ее из воды вверх – два матроса и ты – третий – со спиннингом, трое крепких мужчин тянут вверх одну отчаянную отважную рыбину.

И вот она на палубе, бьется о железный пол, подпрыгивает, путаясь в леске. Теперь матросы тебе не будут помогать, их гарпуны нужны другим рыбакам. Теперь ты сам вынимаешь крючок из ее пасти – и будь осторожен, не отвлекайся, не смотри по сторонам. Ведь сейчас речь идет о твоих пальцах, одно неловкое движение – и придется жить без указательного пальца или без мизинца, а то и без безымянного, обручальное колечко придется надеть на тупой обрубок.

Лежащую на железном полу рыбу нужно хватать за жабры, на ощупь подобные наждаку, держать ее крепко, так чтобы она не вырвалась, и с помощью плоскогубцев и ножа вынимать из ее пасти крючок.

У тебя от крови мутится в глазах. Кровь от раненных гарпуном рыбин растекается лужами по железному полу на корме. Руки у тебя в многочисленных мелких порезах. Но снова ты отрезаешь кусок жирной селедки и цепляешь его на крючок...

Сосед крутил катушку, не уставая. Он вытаскивал одну рыбину за другой, бил каждую сапогом по голове, затем, опустившись на колени, хватал ее за жабры и, дико хохоча, начинал выдирать из пасти крючок.

– Fucking good! – обратился он ко мне, закурив. – Вот это настоящее лечение от любой психиатрической болезни! Ты согласен? Не обижайся, но все ваши психотерапевтические методики – дерьмо. Послушай меня: бросай свою работу в клинике. Ты еще не конченный психиатр, как остальные. Ты – рыбак, настоящий рыбак! Присоединяйся ко мне. Будем каждый день ловить рыбу и продавать ее в китайские магазины.

– О'кей, я подумаю, – отвечал я, стирая с мокрых, соленых рук и лица налипшие чешуйки и кусочки морских водорослей. От меня разило рыбой.

Я с любопытством смотрел на евреек в длинных юбках и кроссовках, с завязанными на голове косынками. Смотрел, как они ловили рыбу. Как крепко держали гнущиеся спиннинги и крутили катушки, как ходили вдоль бортов и звали матросов, чтобы те били рыбин гарпунами.

«Откуда у этих худых и на первый взгляд слабых женщин столько сил и столько воли?» – спрашивал я себя. Откуда столько упорства и выносливости? Я устал, у меня болят руки, я чувствую, что завтра утром не смогу встать с кровати, у меня уже сейчас ломит все тело.

А они еще ловят!

Мама, мама... У тебя был свой ночной блюз, который ты исполняла два последних года. Для меня это стало уроком на всю жизнь.

Мой новый роман будет о тебе; думаю о нем и ночью, и днем.

Я видел тебя, мама, на корабле, в длинной юбке, со спиннингом в руках. Ты стояла у самого бортика и крутила катушку. И радостно звала матросов, чтобы те несли гарпуны.

Из какого источника ты черпала силы, чтобы так долго и мужественно бороться с двумя страшными болезнями – раком и деменцией? Не из своей ли неиссякаемой любви ко всем в нашей семье? Не из своего ли умения прощать? Не из своего ли глубочайшего смирения, такого смирения, которого нет у нас?..

Нью-йоркский бомж

Глава 1

«...Долгое время я не мог привыкнуть спать на скамейке, стиснутый с двух сторон собутыльниками, не мог привыкнуть и к влажному матрасу. Как-то я пожаловался на это одному дружку. Он ответил: «Улица – не пятизвездочный отель. Но все к ней привыкли, привыкнешь и ты». У того дружка был испытанный годами опыт жизни на нью-йоркской улице. Он верно предсказал мое американское будущее: за пять лет я привык спать не только на скамейках, но и на картоне, на мокрой траве, на голом бетоне, в заброшенных домах, в полицейских участках...»

– Н-да, интересно, – сказал Давид, когда Мартин, закончив чтение, сунул исписанные страницы обратно в рюкзак.

Прищурившись, отчего в уголках глаз возникли глубокие морщины, Мартин поднес к губам наполовину выкуренную сигарету. Темнело, последние страницы он читал быстрее, часто останавливался, приближая бумагу к глазам.

Пляж покидали последние отдыхающие. Трое латиноамериканцев с криками тащили мертвецки пьяного приятеля, его ноги волочились по песку. На пляже еще можно было различить высокие смотровые стулья спасателей, детскую площадку.

Давид и Мартин сидели на огромных камнях волнореза, метров на сто вдающегося в океан.

– Потом я зимовал с двумя поляками в каком-то гараже, – Мартин затянулся так крепко, что огонек подобрался к самому фильтру. Выпустив струю дыма, щелчком отбросил окуроч. Поднялся.

Ему тридцать четыре года. Невысокого роста, в джинсовом костюме и черных ботинках. На голове, несмотря на то что июнь, тепло и хорошо на пляже, – серая бейсболка с длинным козырьком. Если присмотреться повнимательней, его туловище чуть перекошено вправо, и ходит он, слегка прихрамывая. Это после травмы: автомобиль сшиб Мартина, когда он просил милостыню. В машине сидели веселые ребятки, пьяные, наверное, после вечеринки, вот Мартин-попрошайка и очутился на бровке с переломом ноги и сотрясением мозга.

Его лицо – грубое, мясистое, черты тяжелые, словно вырублены топором: вздернутый нос с широкими ноздрями, круглый подбородок со шрамом и щетиной, толстые губы. Лба не видно, поскольку бейсболка. Типичное крестьянское лицо, хоть и чех и вроде бы должен выглядеть поутонченней. Ах да, глаза обычные, серые, мутноватые, в красных прожилках – большие глаза. Словом, лицо алкоголика, хоть Мартин не пьет уже больше года. Но долгие годы тяжелого пьянства из жизни не вычеркнешь. А что сквозит в лице алкоголика? Отупение, пустота, отчаяние. Это не изглаживается, во всяком случае, так скоро.

Но, странное дело, под маской ханыги живет и другое лицо. Когда Мартин улыбается, его физиономия вмиг добреет, и под этим добродушием просвечивают еще и хитринка и лукавство. А Мартин задумчивый смотрится философом, погруженным в свою «думку». Думки, кстати, у него крепкие, хотя часто и болтает он без умолку, бубнит что-то на чешско-польско-русском наречии. Давид к этому бормотанию привык. Он знает, что у Мартина это – от пожизненного одиночества.

Давид не всегда вслушивается, о чем Мартин бу-бу-бубнит. Признаться, и не все понимает. Но он знает – Мартину просто нужен слушатель. Если бы вместо Давида рядом стоял, скажем, глухонемой индус, Мартин бубнил бы точно так же, рассказывая о своих житейских проблемах: на работе босс постоянно норовит обмануть; хозяйка дома, где он снимает чердак,

полячка Ванда – обжора и неряха; его родители в Чехии болеют; он хочет купить попугая и так далее.

– Смотри, крыса, – Мартин проводил взглядом крысу, выбежавшую из урны и темным мохнатым комком покотившуюся по песку.

– Да, – отозвался Давид, переведя взгляд с крысы на Мартина.

Мартин улыбнулся:

– Когда-то я с этими крысами жил.

– Здесь?

– Да. Спал вон под тем зданием, – Мартин кивнул в сторону невысокого здания душевой. – Крысы иногда по мне ползали. Но пьяному все равно.

Уже окончательно стемнело, солнце погрузилось в океан, в небе обозначился молодой полумесяц. Вдали по воде скользила яхта под белым парусом.

Давид, чуткий к красотам природы, тем более к морским – плывущим в пенистых волнах яхтам, чайкам, месяцу, – в такие минуты впадал в сентиментальность, у него на глаза наворачивались слезы. Знал, что и Мартин тоже чувствует эту красоту. Но... какими разными глазами они смотрят на мир! Вот пробежала крыса. Давид заметил ее и тут же забыл, снова любит пейзажем. А у Мартина следом за этой крысой наверняка побежало воспоминание из прошлой жизни. Иначе с чего бы на его лице появилось такое кошачье выражение?

– До чего же мне осточертел мой журнал, хоть бы кто редакцию поджег! – пожаловался Давид, когда, поднявшись с камней, они медленно пошли по песку к деревянному настилу.

– Дэ-авид, разве может надоесть работа в журнале? – удивился Мартин. Имя приятеля он произносил, растягивая первый слог, заменяя «а» на «э-а». – А если бы тебе пришлось по десять часов в день замешивать бетон или красить стены, каково бы тогда? А так – ты редактор, встречаешься с интересными людьми, окружен интеллигенцией, – продолжал Мартин. Некоторые слова он произносил, смягчая согласные и чуточку шепелявя. У него не было многих зубов – сгнили или выбили в драках.

– Да-да, сраной интеллигенцией, – огрызнулся Давид. – Мои коллеги-журналисты хорошо умеют только лизать задницы хозяевам.

Они вышли на набережную, остановились у скамейки. Давид стал отряхивать песок с ног, чтобы надеть сандалии. Случайно взглянул на туго зашнурованные ботинки Мартина. Ботинки прочные, в таких можно ходить до глубокой осени, даже зимой. Но сейчас они явно не по сезону. «Вроде бы мы понимаем друг друга и даже чем-то близки. Но из каких мы разных миров!»

Мартин тем временем сел на скамейку, закурил. И давай бубнить о своем: нужно идти к дантисту, а денег нет, босс недодал двадцать долларов, сказал, что через неделю...

– Ты когда-нибудь спал с бомжихой? – вдруг перебил его Давид.

– Да, была одна уличная любовь. Ее звали Иларией.

– Литовка, что ли?

– Эстонка, – против обыкновения, Мартин не пустился в воспоминания, а вдруг как-то погрузнел и умолк.

* * *

Давиду сорок шесть. Крепкого телосложения, слегка полноват. Рост чуть выше среднего; движения тверды, резковаты, в чем сказывается натура деятельная, однако экспансивная, нервическая. Серые пронизательные глаза за линзами очков, насаженных на крупный семитский нос. Курчавые волосы еще хороши по бокам и сзади, но спереди уже проглядывает лысина.

Работу он свою не очень любит. Но не идти же ему – бывшему москвичу, интеллигенту, автору двух книг – работать водителем или швейцаром. Его место – за компьютером в редакции, за писательским столом!

Трудно сказать, что сблизило этих, казалось бы, таких разных людей – Давида и Мартина.

Они познакомились, когда Давид писал очерк о приюте при русской православной церкви на Брайтоне, где тогда обитал Мартин. Парень ему сразу признался: он католик и русскому попу руку не целует. Живет в этом приюте временно, пока холода, и у него нет денег снять комнату. Давид поразился дерзости этого чеха. Другие обитатели приюта громко ввали, что церковь и батюшка, дескать, им помогают жить правильно, по-христиански. От некоторых, правда, при этом разило перегаром. Тихонько просили у «мистера журналиста» деньги на опохмел. А вот Мартин – наглец, батюшку называл «скучным попом» и денег у Давида не кланчил.

Он вообще заметно выделялся среди этих опустившихся, побитых жизнью русских людей. Держался особняком. Когда же они разговорились, Давид выключил диктофон. Понял, нутром почувал: перед ним – не простой бомж, а особенный.

Единственное, что Давида тогда смутило, – запах, исходивший от Мартина. Есть такой специфический смрад, присущий нью-йоркским бомжам, замешанный на резких, тяжелых запахах грязной, месяцами нестираной одежды, заскорузлых носков и долго немывтого тела, сквозь поры которого проступает ядовитый пот после запоев. Даже горячий душ с мылом, даже дезодоранты, шампуни, новая одежда не смогут этот запах перебить. Нью-йоркский бомж впитал в себя вонь величайшего города, всех его помоек, свалок, выгребных ям, испарений, блевотины, мочи, тления и разложения, гнилья, спермы, слюны, мусорных урн, мусороуборочных машин, крыс,дохлых кошек и голубей; вонь проникла и всосалась во все поры, в каждую клеточку его тела. И вот этот гордый чешский католик вонял, как «классический» нью-йоркский бомж.

Давид – эстет, однако запахов его нос почти не улавливал. Он различал лишь резкие запахи. Но совершенно не различал нежных запахов духов, что несколько огорчало его бывшую жену. Правда, он хорошо помнит запах ее тела. Кстати, так же пахнет кожа и у сына, с которым он не виделся уже две недели...

Потом Давид встретился с Мартином еще раз, но уже не в приюте, а на набережной. Якобы хотел закончить с ним интервью.

Что-то отозвалось и затрепетало в душе Давида, когда Мартин рассказывал о своей жизни. Какая-то мрачная красота приоткрывалась в нем. Подавляя брезгливость, часто посапывая и потягивая носом, иногда отворачиваясь или отдаляясь еще на полшага, Давид все же шел рядом, слушал. А потом они встретились еще раз, уже без всякого повода.

* * *

– И что же Илария? – спросил Давид.

– Она была очень красивой, но несчастной. Правда, я тогда тоже не чувствовал себя счастливым, – признался Мартин.

– Как она выглядела? Я смутно помню в том приюте одну бомжиху – блондинку с синяком под глазом и в шляпке.

– Да, скорее всего это была она. Из-за нее однажды все в приюте напилось и устроили драку.

Они приближались к метро. Прогретый за день асфальт отдавал тепло, смешанное с испарениями пролитого переработанного машинного масла и газов из выхлопных труб.

– Мы с Иларией познакомились в сквере. Она сидела на скамейке, пила пиво. Я в нее сразу влюбился. Я называл ее Золотцем... – Мартин полез в карман джинсовой куртки за сигаретой.

– Извини, я должен идти, нужно закончить статью, – соврал Давид. Два-три часа они вместе – и Мартин обычно начинал его раздражать.

По-собачьи чуткий ко всему, что относится лично к нему, Мартин понятливо закивал головой и вернул сигарету в пачку.

– Послушай, почему бы тебе не написать рассказ про эту... как ее там... Иларию? – предложил Давид.

– Рассказ про Иларию? – Мартин прищурился. – Но ты же знаешь: я хочу написать серьезный роман. Прочитал тебе сегодня первую главу о том, как я начал бомжевать, а ты даже не сказал, понравилось ли тебе.

– Роман? Рано тебе еще писать романы. Попробуй-ка сначала делать зарисовки, набей руку на малых формах. Впрочем, как знаешь, дело твое. Все, я побежал, – пожав Мартину руку, Давид направился к серебристым турникетам.

Поднимаясь по ступенькам, зачем-то поднес и задержал у носа правую ладонь. Принюхался. Никакого запаха вроде нет. Нет на его ладони ни порезов, ни шрамов. Его ладонь совершенно чиста.

Глава 2

«...Она схватила свою сумочку и, назвав меня «трахнутым чехом», ушла. Я ждал Золотце несколько недель, хоть был уверен, что она больше не придет. Предчувствие меня не обмануло.

Что с ней случилось потом, не знаю. Недавно увидел ее во сне, плывущей в белом платье по реке. Звала меня к себе. Я проснулся, лицо мое было мокрым от слез...»

– Вот это шекспировские страсти! – Давид прижал дужку очков, ненадолго задержав указательный палец на переносице.

Он припомнил ту бомжиху, когда писал очерк о приюте. С большим синяком под глазом и в какой-то дурацкой шляпке, женщина ходила по церковному дворику, вызывая хохоча. Она была пьяна. Давид подошел к ней, стал убеждать ее лечиться от алкоголизма. Она будто бы соглашалась. Вдруг крепко обхватила его за плечи, исступленно повторяя: «Да-да, я несчастная, я падшая...» В какой-то миг Давид ощутил силу и жар ее еще молодого тела. Но длилось это совсем недолго – женщина неожиданно нагло расхохоталась и, оттолкнув Давида, крикнула: «Пошел к черту, лысый козел! Приходи ко мне через пару лет!» И отбежала к какому-то мужику. Вот, собственно, все, что он помнил о ней.

– Ну что, понравилось? – осторожно спросил Мартин, нарушив затянувшееся молчание.

– Да, неплохо. Правда, ее образ у тебя не совсем четко обрисован, несколько размыт.

У Мартина от обидчиво сведенных бровей на переносице появилась глубокая складка.

Они сидели в японском баре, ели суши.

– Сцена, когда ты вылил водку на землю, мне понравилась, – продолжал Давид. Ему стало жаль Мартина. – Представляю себе эту картину: женщина, которую с похмелья то бросает в жар, то бьет озноб, утром приходит к Мартину и просит водки на опохмел. У Мартина целая бутылка. Но вместо того чтобы помочь женщине и налить ей, шутник Мартин с плутоватой улыбочкой выливает водку на землю у нее перед носом. При этом он испытывает большое наслаждение, потому что таким образом мстит ей за то, что накануне она трахалась не с ним, а с кем-то другим.

– Дэ-авид, ты настоящий литературный критик. Еще и тонкий психолог. Мне очень повезло, что я тебя встретил. Без тебя я бы пропал.

– Прямо-таки, – протянул польщенный Давид. – Ведь обходился же ты без меня все эти годы. Пять лет ползал по нью-йоркскому дну – и ничего, выжил... Знаешь, о чем я сейчас подумал? Что, если я эту твою главу напечатаю у нас в журнале? Так и назовем: «Золотце».

– В журнале? Но ты же сам говоришь, что нет ясности образа, все размыто...

– Не переживай, для дебюта нормально. Только нужно сначала перевести с чешского на русский. Мы с тобой сможем это сделать сами, без переводчика.

– Давид, я давно хотел тебя спросить, – начал Мартин, когда они вышли из суши-бара. – Ты так хорошо понимаешь алкоголиков. Откуда это у тебя? Ты что, тоже пил?

– Нет, никогда... Просто когда-то интересовался этой болезнью.

– Да, твоя натура тебе не позволит спиться. У тебя есть сила воли, есть цели и интересы в жизни. Ты писатель.

– Ты прав, – согласился Давид, но почему-то без всякой радости.

* * *

Он – писатель? Все так, все правда: Давид Гинзбург – автор двух книжек. Но...

Он всегда мечтал стать знаменитым писателем. Быть просто писателем его не устраивало. Да, он обладал литературными способностями, но отнюдь не был гением. В том-то и заключа-

лась беда. Он желал, чтобы читателей потрясли его книги. Его душила зависть к знаменитостям. «Перестань быть гением. Напиши просто хороший рассказ», – советовала ему бывшая жена.

Две его книжки – сборники повестей – были изданы в Москве средненьким издательством скромным тиражом. Книжки в целом неплохие, есть там сильные страницы. Но, не раскрученные, они незаметно утонули в море современной российской беллетристики.

Тираж кое-как разошелся, Давид от издательства не получил ни гроша, хоть и обещали долю от выручки. Вот и вся литературная слава...

Потом родился Антон. Потом словно подменили жену: она стала жить только ребенком, проблемы Давида ее уже мало интересовали. В семье начались конфликты. Давид все больше злился, все чаще жаловался и... все хуже писал. Искал виноватых, обвинял семейную жизнь, работу. Стал выпивать.

Дошло до того, что развелся, оставил работу. Думал, бросив все, напишет блестящий роман, который сделает его знаменитым. Ведь он принес Аполлону такую жертву – отказался от семьи, от стабильной работы!

Но, увы, Аполлону эта жертва была не нужна.

Листы бумаги, измаранные его каракулями, летели в мусорный бак. Ни в одной строке не горел огонь. Писать ему было не о чем: душу ничего не жгло, никого, кроме себя, он не видел и не слышал, никому не соперничал, никого не любил. А тщеславие продолжало душить.

Закончилось тем, что Давид – удачливый журналист, вроде бы еще молодой и подающий надежды писатель, вовсе умолк. Даже быстро полысел.

Стал пить, уже не просыхая. Налегал на виски Jack Daniel's. Виски согревало, от него было не так мрачно на душе. Но выходить из похмелья становилось все трудней.

Нужно было признаться себе: он не только не гений. Он – импотент, литературный импотент!

... Однажды утром с раскалывающейся от похмелья головой он вошел в синагогу. Увидел седобородого раввина. Признался ему, что хочет покончить с собой.

О чем они говорили, сидя на скамейке в той синагоге, где на кафедре лежал священный свиток, завернутый в алый бархат? Буквы древнего иврита были вышиты серебром на том бархате. Надпись говорила о Боге, который не только ангельскими голосами зовет в горние сферы, но и топчет в свином навозе. И грозно глаголет: «За все будь Мне благодарен, человек! Ибо я – Господь Бог твой и Мне лучше знать, кому дать, а у кого отнять, кого одарить талантом, а кого нет, кому бросить одну монетку, а кому насыпать сполна. Но горе тому, кто не примет и не оценит ЛЮБОЙ Мой дар!..»

Давид молча кивал головой, слушая раввина, проникаясь многовековой мудростью: да, да, и в молчании нужно уметь жить и быть благодарным, ибо писательство – это не цель бытия, а лишь грань богатого человеческого сердца...

Он вышел из синагоги, по-прежнему больной и разбитый. Но вечером не выпил ни капли виски, дав себе слово искать работу.

И уже через несколько месяцев это был прежний Давид – энергичный, решительный, чуточку самовлюбленный. Занимал должность редактора журнала, писал статьи, ездил отдыхать в Мексику и во Флориду. К жене, правда, не вернулся, зато часто встречался с сыном. Ненадолго сходился с женщинами. Словом, вел приятную холостяцкую жизнь. Правда, книжки свои забросил в кладовку и старался о них не вспоминать.

Казалось, примирился с судьбой. И вдруг – встреча с Мартином!

* * *

Широки лестницы в здании ООН, что на сороковых улицах Манхэттена! На стенах – фотографии, где ооновцы кормят каких-то доходяг, делают прививки от гепатита чернокожим в бунгало и проверяют их на ВИЧ. Тут же на стенах развешаны детские рисунки и плакаты на всех языках, призывающие к разоружению, сотрудничеству и миру. Полно туристов, делегации.

Сидя в кресле в просторном, светлом коридоре, Давид прослушивал на своем айфон запись с только что закончившейся пресс-конференции одного политика. Выключив айфон, встал и направился к выходу.

– Да-авид, ты?

– Лара?

Перед ним – женщина лет тридцати семи, в строгой темной юбке и бежевой блузке. Черные волосы, аккуратно зачесанные и собранные сзади, открывали овал ее белого лица с гладким лбом и тонким, ровным носом. Темно-карие глаза умело подведены. Она среднего роста и гармонично сложена, правда, плечи чуть узковаты для таких бедер. Но эта маленькая диспропорция едва заметна, спрятана в хорошо продуманном фасоне юбки.

– Ты ли это? Не может быть!

– Я, он самый. А что ты здесь делаешь?

– Работаю здесь. Надо же, какая встреча... Сколько лет мы не виделись?

– Лет двенадцать, не меньше. Во всяком случае, с тех пор, как я уехал в Америку.

– А ты совсем не изменился. Правду говорю.

– Верю, – Давид зачем-то пригладил поредевшие волосы. – Кстати, ты тоже почти не изменилась, – соврал он в ответ.

– Ну-ну-ну. Я стала толстой и старой.

– Чем ты здесь, в ООН, занимаешься? Отправляешь посылки детям Африки? Или спишь с генеральным секретарем?

– Чтобы спать с генеральным секретарем, нужны большие связи, у меня таких пока нет. Но, думаю, все поправимо, как говорят американцы: *it's only a matter of time* (это всего лишь вопрос времени). А если серьезно: уже почти два года я работаю в отделе, который занимается энергетикой. Перед этим закончила специальную программу университета в Дании.

– А где сейчас твоя мама? Что с ней? – спросил Давид.

В памяти смутно маячил образ немолодой еврейской женщины. Кажется, одета во что-то невзрачное, да и сама тоже невзрачная, Давид даже не мог припомнить ее лицо. Впрочем, видел ее лишь однажды, когда Лара в первый и единственный раз завела его к себе в квартиру перед киносеансом, чтобы сменить туфли.

– Мама живет в Филадельфии, у нее все в порядке.

Она смотрела на него, улыбалась, и, невзирая на эти внушительные плакаты на стенах, мраморные лестницы, консулов и туристов, он вдруг увидел ее – двадцатитрехлетнюю Ларку. Вспомнил, как когда-то на Арбате ее портрет нарисовал один художник, превратив скромную студентку МГУ в роскошную царицу Савскую. Почему они ни разу не переспали?..

– Мне пора в офис, ланч закончился, – сказала Лара, поглядывая на свои часики.

– Когда же мы увидимся?

– М-м... сегодня вечером у меня свидание с одним испанцем. Он майор, из корпуса миротворцев. Очень красивый мужчина, правда, глупый до невозможности. Зачем он мне нужен, сама не знаю.

– Тогда давай в другой день, – перебил Давид. Ему почему-то не хотелось слушать про испанского майора-миротворца. – Как насчет пятницы, после работы?

Глава 3

«Освобожден. Теплая, тихая июньская ночь. По пустому тротуару идет пожилой негр. Что-то бормочет под нос, смеется.

– Сколько сейчас времени? – спрашиваю у него.

– Половина первого.

– Закурить не найдется?

Чернокожий дает мне две сигареты и, продолжая что-то бормотать, уходит. Сигареты есть, но нет спичек – их у меня забрали при аресте. Зато есть тринадцать долларов. Полицейские у меня деньги не отняли. Хорошие копы. Перед тем как я вышел из камеры, полицейский Перез даже угостил меня на прощанье куском пиццы и кофе. Сокамерники мне завидовали.

Я поделился пищей с Педро, который, не знаю почему, тоже был в тюрьме и ожидал суда. Понять Педро невозможно – этот спесивый сальвадорский пьяница за годы жизни в Нью-Йорке не выучил и пары английских слов. Впрочем, ему достаточно испанского, чтобы попросить поужинать в испанском Гарлеме. Амиго.

Это была моя третья посадка. Перез меня хорошо знает, я постоянный его клиент. Впрочем, не я один: Педро, Африка и все остальные из банды алкашей и бездомных, обитающих в районе 125-й стрит, что на границе негритянского и испанского Гарлема.

В этот раз арестовали меня за открытую бутылку пива. Теперь, завидев Переза, мне нужно быть вдвойне осторожным. Уверен, что он захочет упечь меня в камеру снова.

На какой я нахожусь улице? 36-я стрит и 1-я авеню. Ну, вперед, до самой 125-й!

Внимательно слежу за тротуаром, прошел один квартал – и в кармане уже полно бычков. Ой! Передо мной на асфальте едва подкурренная «верджинка». Здесь, в Манхэттене, живут очень богатые люди, выбрасывают сигареты, едва успев прикурить. Попробуй найди такие бычки в Бруклине. Куда там! В Манхэттене и в урнах, и возле ресторанов можно хорошо поживиться едой: найти даже неразвернутые сэндвичи с бужениной и яйцами или гамбургеры с ветчиной и помидором. Я голоден – кусок пиццы, который я получил, выходя из камеры, давно переварился в желудке.

Жую найденный бутерброд, неспешно иду по пустой ночной улице. На мне кроссовки Nike, подаренные Африкой. Очень хорошие кроссовки: почти новые, легкие и мне по размеру. Есть ли где негр чернее Джамия-Африки? Чернота кожи, однако, не самое главное его свойство. Не знаю другого такого щедрого чернокожего. Он всегда веселый, потому что курит марихуану. Помню, когда Перез надевал на меня наручники, стоявший рядом Джамиль-Африка смотрел на эту сцену довольно мрачно. Еще бы! Открытая бутылка пива была его, не моя. Он просто ее поставил возле меня, когда мы с ним пили на скамейке. Из-за этого недоразумения я должен был с жутким отходняком целый день валяться в участке на бетонном полу, пить тухлую воду из-под крана и испражняться в присутствии сорока сокамерников.

Чудесная страна Америка! После того как судья меня оправдал, мне вручили карточку на проезд в метро, чтобы я добрался домой. Но мой дом – улица, в подземку я спускаюсь только зимой, и то когда очень холодно. За все годы бомжевания я спускался в метро, может, раза три. Все из-за полицейских, которые не разрешают там спать на скамейках. Завидят, что кто-то лег, – обязательно подойдут и заставят сесть, а то и просто выдворят из подземки. А спать сидя неудобно. Не говоря уж о том, что поезда мешают своим грохотом. Чтобы спать в метро в таких условиях, нужно напиться до немоты. А это не по мне, я люблю до полунемоты. До полунемоты – чешский способ, пивной; до немоты – русский, водочный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.